

ПРЕДИСЛОВИЕ

Ани, ат, хи, анахну, хэм*, сегодня ровно год, как я пишу только справа налево. Но ульпан** на каникулах, уроки делать неохота. И вот первый раз я села, чтобы написать хоть что-то слева направо. В этом «что-то» и кроется самая большая загвоздка. За какую нитку дернуть пестрое перекаати-поле, вцепившееся в плетеное дно корзинки с шитьем? Выбрать красную или синюю пиллюлю, микстуру, капли, порошок в аптечке из-под мальчиковых «найков», привезенной на все случаи жизни из Москвы? Поди разбери, где у тебя больше болит.

Когда приходишь к морю, охватываешь его взглядом полностью. Можно, конечно, зайти в воду, посмотреть вниз и разглядеть какую-нибудь рыбку или травинку. Но мне нравится наблюдать за морем сверху и видеть его целиком. А когда садишься писать, не можешь рассказать обо всем, не можешь создать картину бескрайнего пространства, тебе все время приходится выбирать что-то одно. Мужчина и собака догуляли не спеша до пляжа ветреным зимним утром. Я сфотографировала их маленькие черные фигурки на фоне хмурого сизого моря с белыми барашками волн. Но это было совсем не то, что видеть глазом.

* Я, ты, она, мы, они (*ивр.*).

** Учебное заведение для изучения иврита.

В кадр попал лишь фрагмент реальности, и сразу все упростилось. В жизни по их спокойным вдумчивым спинам было видно, как хорошо им сидеть вот так, бок о бок, на ветру, как они умеют подолгу молчать и черпать тепло друг в друге. Было так здорово, что они совершенно одни, до самого горизонта, и только я наблюдаю за ними сверху, с дорожки парка, словно господь бог, и радуюсь за них, будто они мое творение. То есть они были вдвоем, но я была с ними тоже. А на фото ничего этого не видно.

Когда хочешь что-то записать, боишься, что текст не отобразит твоих ощущений от реальности, как не отображают их фотографии. У тебя нет объектива, который бы дал панораму всей жизни, состоящей из тысячи важнейших мелочей и происшествий. И ты тупо не знаешь, с чего начать. В голове моей уже год крутятся десятки «первых фраз» будущего текста, и всякий раз я боюсь двинуться дальше. Потому что каждый следующий шаг отсекает остальные возможности повествования, а с ними исчезает и ощущение бескрайнего моря. Вот, например, я думала начать с фразы: «На моей клементине* так и не появились зеленые листочки». Я и правда очень расстроилась, когда клементина вдруг стала инвалидом: без рук, без ног, серый ствол и несколько свежих спилов враскоряку — немыслимое уродство вместо большого зеленого дерева во всю ширину кухонного окна. Я увидела зияющие белой древесиной обрубки еще с улицы, когда подъезжала к дому в высоком траке, сидя рядом с интеллигентным перевозчиком Иваном из Питера. И у меня

* Клементина (*ивр.*) — растение из рода цитрус; то же, что клементин (*рус.*).

внутри все ухнуло и оборвалось. Эту квартиру на самом юге Тель-Авива, в бандитском районе Шапира, я выбрала из-за частного двора с тремя фруктовыми деревьями. Невзрачный лимон — с одним зеленоватым лимончиком на нижней ветке, который я не решилась сорвать, дабы не лишать дерево идентичности. Большая раскидистая мушмула, усыпанная зелеными грушками, которые к лету должны пожелтеть и стать сладкими и сочными. И огромная клементина, с которой сыпались и сыпались на каменную плитку двора и провисшую крышу навеса оранжевые плоды, похожие на мандарины. Пока хозяин квартиры Шимон, буквально за день до моего переезда, не отпилил ей все, что только можно. Я написала Шимону, обреченно наблюдая за тем, как невесомый блондин Иван с чернявым силачом-напарником затаскивают в дом газовую плиту и разобранную на запчасти икеевскую кровать, доставшиеся мне в подарок от владельца прежней съемной квартиры в Бней-Браке*: «Что с клементиной?» Он ответил: «С ней все в порядке. Соседи жаловались, что я не собираю плоды. Я обрезал ветви». И послал вдогонку эмодзи в виде апельсинчика с зеленым листочком. Мой хозяин Шимон отлично владеет ватсапом для своих семидесяти. И все же его ободряющий апельсинчик в нашей переписке выглядел как троллинг. По утрам, карауля кофе у плиты, я старалась не смотреть в окно, где чернела на охристо-желтом фоне соседнего многоквартирного дома моя четвертованная клементина. Бесстыдный вид заголенного увечья бил по глазам и не оставлял никакой надежды на регенерацию. Теперь я знала, как выглядит истинно топорная метафора.

* Город в Тель-Авивском округе.

Переезжая, ты обрубаешь все концы. Либо их обрубают кто-то вместо тебя.

Или же стоит начать с визита к московскому стоматологу. Я лежу запрокинувшись в зубо врачебном кресле под ослепительным прожектором. Слушаю с распахнутым ртом и зажмуренными глазами, сквозь мерное жужжанье бормашины уютный разговор врача с медсестрой: кто что принес из дома к чаю. И вдруг чувствую, как мой рот заливают кровью. Врач, которую я выбрала в интернете из-за отчества Марковна и фамилии Бокушанская, понадеявшись, что она потомственный стоматолог, поначалу говорит медсестре тем же будничным голосом, как только что обсуждала пятипроцентные творожки: «похоже, слизистую задела». Они пробуют отсосом остановить кровь, но вскоре обе срываются со своих рабочих мест и начинают орать, обнаружив, что разрезан мой язык, да так глубоко, что его придется зашивать суровой черной ниткой в кабинете хирурга, а потом еще снимать швы, прямо накануне моей первой поездки в Страну. Но суть не в том, что язык раздулся и невыносимо болит при малейшей попытке им шевелить, и уж совсем не в том, что из-за этой травмы я не могу ни есть, ни пить, а в том, что теперь я полностью лишена дара речи. Рыбы немые, рабы не мы, я приезжаю с двумя своими взрослыми детьми в аэропорт репатриироваться от «Сохнута»* согласно Закону о возвращении, но при этом не то чтобы собираюсь остаться в Стране, мы едем получить паспорта и вернуться обратно, а дальше видно будет. И вся эта ситуация, конечно, меня ужасно напрягает, хотя столько вокруг примеров, кто сделал так же и теперь имеет гражданство,

* Еврейское агентство для Израиля.

но даже не думает о переезде. «Не моя страна, не могу там жить», сколько раз услышишь в Москве подобное от беззаботных обладателей «дарконов»*, я слышала десятки раз и именно из-за всего этого не планировала получать гражданство, не собиралась никуда ехать, ничего этого не хотела. Пока не случился февраль. И вот в аэропорту, где предстоит дознание (а по приезде разговор при выдаче документов), я стою, не в силах пошевелить языком, и чувствую невероятное облегчение. Потому что, как только тебя что-то спрашивают, ты просто мычишь в ответ, приоткрываешь рот и показываешь пунцово-синий язык. Сейчас, когда, ввиду самых неожиданных обстоятельств, я уже год живу в Стране и испытываю к ней чувство благодарности и ревности, как ребенок к матери, у которой есть куда более удачные дети, раньше заговорившие на иврите и заходившие на работу, меня снова то и дело накрывает чувство немоты. Ты хочешь сказать, но не можешь. Раньше невозможно было говорить, что думаешь, по причинам безопасности. Теперь — по причинам плохого словарного запаса. И только один-единственный раз в жизни я не хотела и не могла говорить одновременно, получив право на молчание у стоматолога-терапевта с еврейской фамилией и тридцатилетним стажем, дипломом МГМСУ им. Евдокимова, там же интернатура. В самолете «Эль Аль»**, вылетевшем из Москвы в Тель-Авив, разносили обед. В хрустящем пластиковом боксе был хумус, огурцы, нарезанные соломкой, оливки, маленькая пита. Я помню ощущение пронизывающей боли, когда хумус, заправленный лимонным соком,

* Заграничный паспорт гражданина Израиля.

** Израильская авиакомпания.

попал на искромсанный язык. Искры сыпались из глаз, но я через силу продолжала жевать. Это была первая моя еда после травмы, и это было так вкусно...

Когда я кручу в голове начало истории, мне кажется очень символичной московская моя немота накануне перелета в Тель-Авив. Хотя и другая первая фраза часто приходит на ум, когда я засыпаю среди бела дня, сморенная жарой, в темной спальне, разлинованной тенями оконных «трисим»* с дрожащими солнечными бликами: «Есть еще проблемка, вы родились вне брака». Яков Гендель, чиновник израильского консульства, в кабинет которого мы попали по делам репатриации, был молод, рыж, бородат и бесстрастен до тех пор, пока не брал в руки документы, предназначенные для проверки. Это был уже второй раз, когда мы пришли к нему на прием, спустя год ожидания и первой неудачной попытки получить визу. На этот раз главным объектом консульской проверки оказалась трудовая книжка моей бабушки. За всю долгую жизнь Цивина Юлия Альфредовна не вызвала у советских кадровиков и десятой доли того жгучего интереса, какой явил ее внучке и правнукам Яков Гендель. В полнейшей тишине он переворачивал ветхие зеленоватые страницы маленькой заляпанной книжечки, вдаваясь во все нюансы кадровых перестановок, позволивших моей бабушке начиная с двадцати шести лет работать секретарем, медсестрой, лаборантом, счетоводом, кассиром в булочной, киоскером, страховым агентом и билетером в кукольном театре «Сказка», ознаменовавшем кульминацию ее скромной карьеры, вплоть до последних граф «зачислена на должность ночного сторожа» в том же театре

* Жалюзи (*ивр.*).

и «уволена в связи с переходом на инвалидность», спустя девять лет, в ее шестьдесят пять. На самом деле тут было о чем задуматься. Я, к примеру, до похода к Генделю даже не знала, что бабушка не только продавала билеты в «Сказку», но и охраняла ее по ночам, как не задумывалась и о многочисленных увольнениях, и том, что за ними стояло, какие этому сопутствовали разборки и конфликты, кто был их зачинщиком, как это воспринимала сама бабушка, родившая в тридцать семь лет сына с прочерком в графе «отец», и что говорили обо всем этом ее младшие сестры. Одна — Тонечка — всю жизнь работала медсестрой, последовав по стопам родителей — врача неотложной помощи Альтера Иосифовича Цивина, уроженца Витебска, и его жены Тамары Иосифовны Либерман, акушерки из Риги. Другая — Раечка — до самой пенсии трудилась в «Кинопрокате», выявляя технические дефекты фильмокопий. По всему раскладу двухтомной трудовой книжки, штудируемой Яковом Генделем, получалось, что бабушка была белой вороной в семье Цивиных, и этот неутешительный вывод отображался на его высоком челе печатным ивритом. О том же лет с пяти догадывалась и я благодаря регулярным колким репликам, которые вполголоса позволяли себе бабушка и дедушка с маминой стороны. Но копаться в непростых отношениях двух семейных кланов сейчас не было никакого резона, потому что ни путаная биография моей бабушки, ни неуживчивый, судя по количеству мест работы, бабушкин характер никак не отменяли чистоты ее еврейской крови, как бы этого ни хотелось рыжему выскочке Генделю. Спустя десять минут удручающего молчания он с неохотой отложил трудовую книжку и столь же пристально уставился в мое свидетельство

о рождении, разумеется, апостилированное и снабженное дополнительной справкой из питерского загса. Опять повисла пауза. Дочь и сын сидели сзади тихо, как мыши, нам почему-то не дали сесть в ряд, и я спиной чувствовала, как напряжение в тесном кабинете нарастает. Еще через минуту Гендель отложил свидетельство о рождении, взял в руки свидетельство о браке моих родителей, потом положил обе бумажки рядом, аккуратно состыковав их по краю, посмотрел на меня в упор бесстрастными серыми глазами и произнес без всякого акцента коронную фразу, с лету ворвавшуюся в наш семейный лексикон: «Есть еще проблемка: вы родились вне брака». В это мгновение я почувствовала, как Яков Гендель сокрушительно проигрывает партию, сделав заведомо неверный ход, что, впрочем, нисколько ему не мешало в отместку не проставить нам визы. Впервые в жизни моя кровь забурлила, почуяв родные гены загадочной папиной мамы, с которой я так и не сблизилась до самой ее кончины, и прилила к щекам от обиды за обоих родителей, чья любовь всегда ощущалась мною как нечто само собой разумеющееся. Я отлично помнила дату их свадьбы и все сопутствующие ей события — в неполные двадцать два года они расписались тайком от Юлии Альфредовны, а также от бабушки Люсика и дедушки Бори, после чего сходили на представление в цирк на Фонтанке и разошлись по домам. И только к концу месяца переехали вместе в съемную комнату в ленинградской коммуналке. Я посмотрела на Генделя в упор: «Родители поженились шестого февраля. Я родилась восьмого декабря. Десять месяцев. Я родилась в браке». Гендель еще раз уткнулся в бумаги и произнес безо всякого выражения: «Ждите в коридоре».

Пугает и не дает писать не только опасность неверного зачина, который выхватываешь откуда-то изнутри неловкой клешней-хвतालкой памяти, как из автомата с мягкими игрушками в пустынном советском кинотеатре после начала сеанса. Даже если зацепить ею какого-нибудь заманчивого зайчика или мишку, он, скорее всего, сорвется с крючка на полдороге, и придется начинать все сначала, бросив еще одну монету в металлическую прорезь, пока не кончится отложенная мелочь. Мешает еще чувство неловкости. Когда пишешь о себе, не надеясь на воображение, а опираясь лишь на опыт, то и дело натыкаешься на чужие границы, нарушать которые и страшно, и опасно. Например, моя дочь, главный триггер и локомотив нашей семьи. Могу ли я называть ее здесь настоящим именем, чтобы потом не рассориться? Достаточно ли написать, что все совпадения случайны и все персонажи вымышлены? Ведь текст, как и фото, лишь смутный отпечаток реальности, ограниченный рамками кадра, искаженный объективом камеры. Литерой «я» в нем обозначен лирический герой. А любая история, будь то дневник или исповедь, — не то, как было на самом деле, а как выразилось в словах.

И все же я попробую двинуться дальше. Из тесного кабинета Якова Генделя — в водоворот страстей, ставших причиной моего внепланового возвращения. Из кресла стоматолога Бокушанской — в самолетное кресло «Эль Аль» — а оттуда за парту улыпана, обучающего репатриантов ивриту. Из пыльного двора с израненной клементиной на самой кромке района Шапира — в непролазные дебри израильского быта, которые дарят столько же каждодневных неприятностей, сколько и побед, придавая будничной жизни

немыслимый азарт и наиважнейшее значение. Мне только спросить. Как я здесь оказалась и что со мной будет дальше. Дамы и господа, пристегните ремни, приведите спинки. Амен.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В нашем ульпане учится Борис. Он бизнесмен из России, высокий, спортивный, с правильными чертами лица и довольно уверенным плавным ивритом. Он единственный из нашего класса «бет»* — а в нем более тридцати человек из Франции, Америки, России, Украины, Новой Зеландии, Аргентины и даже Китая — пользуется на уроках айпадом и стилусом. У Бориса есть квартира в Италии, сын-старшеклассник в Америке и еще трое детей от разных браков. Борис производит впечатление очень уверенного в себе, успешного человека. Хотя в соцсетях публикует всякие странные вещи вроде мемов про глупых блондинок. Вообще, соцсети и аватарки иногда открывают людей с неожиданной стороны. Это как заглядывать под вечер в чужие окна — у кого что на ужин, кто чем занят перед сном, какие в доме чашки и мебель. Многие, правда, закрывают профиль, тогда подглядывать не получается, но у Бориса окна не зашторены и много постов, один другого чудачковатее, так что сразу становится понятно, что жизнь его драматична вопреки недвижимости в Италии и американскому прошлому, а может, как раз из-за оных. На дополнительном уроке, когда мы тренируемся говорить на иврите на всякие отвлеченные

* Вторая буква алфавита (*ивр.*), вторая ступень обучения.

темы, я спрашиваю Бориса с ужасным акцентом «русит»: «Есть у тебя квартира в Италии, но ты живешь здесь, почему?» И Борис отвечает мне с белозубой улыбкой опытного бизнесмена и почти без «русит», ведь он человек мира: «Я живу здесь, потому что в Италии скучно». — «А здесь?» — «А здесь нет». Точнее, пожалуй, и не скажешь. Эта Страна не дает соскучиться. Ее тысячелетняя сухая ржавая земля — плодородный чернозем для невероятных случаев и происшествий, куда ни ткни — тут же разрастается сюжет, достойный если не Танаха, то «Нетфликса».

Моя дочь переехала из съемной своей квартиры в солдатское общежитие в Рамат-Гане*. Каждый день она приносит в зубах невероятные рассказы, прямо как одноглазый коричнево-черный кот в моем дворе, который считает эту территорию своей и охотится тут ногами. Я уже дважды находила мертвых птиц, одну под мушмулой, другую на клеенчатой крыше навеса, собирала останки метлой и совком в черные пакеты, белые пуховые перышки еще долго дрожали в щелях каменной плитки. Истории из «бейт-а-хаяль»** примерно такие же душераздирающие. Солдат Итай живет в общежитии, потому что религиозные родители не хотят его больше знать. В восемнадцать он женился на девушке, которую ему выбрала семья, они прожили несколько лет и родили троих детей, после чего Итай развелся и ушел в армию. Он ненавидит Бней-Брак и все, что с ним связано. Он ненавидит «датишный»*** институт брака и все, что с ним связано. Он скучает по детям,

* Город в Тель-Авивском округе.

** Дом солдата (ивр.).

*** Религиозный (от ивр. «дати»).

но он сам еще полуребенок в свои двадцать пять. Ему, конечно, стыдно перед женой, но она, говорит, тоже была не против развестись, потому что никогда его не любила, и от нее хотя бы не отвернулась семья, ведь не она инициировала развод. Итай каждый день ходит в зал тренироваться и сбрасывать напряжение. Тут все ходят в зал, и все сбрасывают напряжение. Самые активные, включая мою дочь, занимаются еще в «кошер крави», это специальные тренировки перед армией на выносливость, там бегают с тяжеленными носилками по песку, стоят по пояс в воде, лазают по веревочным лестницам и прочее в том же духе. Эти курсы посоветовал моей дочери другой одинокий солдат Янив, попавший в общежитие после того, как его мама стреляла дома из табельного оружия и едва не попала в него. Мама занимает высокий пост в элитных боевых. Проснулась среди ночи, услышала арабскую речь в гостиной — там Янив смотрел сериал — и, не разобрав, где она, выхватила пистолет и начала отстреливаться. Сын переехал, мама подлечилась, оба вернулись в армию.

В иврите есть выражение «В каком фильме ты живешь?», оно означает «В каких облаках ты витаешь?» и призывает смотреть на вещи реалистично. Но жизнь в Стране — это и вправду сплошное кино. Пока моя дочь, по-богатырски раскинувшись на казенной шконке и видя себя во снах бойцом ЯМАС*, отсыпается после ночной партии в «шеш-беш»** с неблагополучной соседкой по комнате Авиталь, изгнанной с курса «гиюра»*** за пьянку, и бывалым охранником Марком, давно свое

* Спецподразделение пограничной полиции Израиля.

** Нарды (фарси, тюрк.).

*** Обряд принятия иудаизма неевреем.

отсидевшим, я пью кофе на солнечном бульваре Бен-Гурион с одноклассницей из ульпана и ее приятельницей по духовным практикам. Приятельница представляется Люси, с ударением на последний слог. Она из Владивостока, в стране тридцать лет и замужем за израильтянином, владельцем важного инвестиционного фонда. Двое детей-старшекласников, один из них гений, говорит длинноногая Люси, поправляя широкополую шляпу медленным движением бледной руки, он играет на фортепиано. «Конечно, они уедут отсюда учиться в Европу», — продолжает она с интонацией дивы немого кино. «А как же армия?» — спрашиваю я, вспоминая датишного Итая, посттравмированного Янива, а заодно свою дочь, рвущуюся в «крави», и ее родного брата, отправленного в России в запас по причине отсутствия селезенки и получившего в Стране медицинский профиль, годный для боевых. Он, кстати, уже полгода как ждет призыва тут неподалеку, на Дизенгофф*, в итальянском ресторане «Кантина», поваром на кухне. Люси, с ударением на последний слог, качает головой, и шляпа качается в такт, словно огромный дикий цветочек: «Они слишком талантливы, чтобы идти в армию. Что им там делать?» Кинопленка обрывается, но спустя месяц мы встречаемся с Люси снова, в доме моей одноклассницы. Люси заходит покурить травы перед клубом с танцами, на которые регулярно ходит с мужем, она смеется с первой затяжки, в глазах появляется блеск, а щеки становятся еще бледнее, она увлеченно говорит про ЛСД и грибы, она и муж — заядлые любители всевозможных веществ, до и после выпассаны, и вдруг проступает сквозь дым, что Люси,

* Центральная улица Тель-Авива.

возможно, измучена долгосрочным браком с успешным израильянином и детям ее и впрямь не место в ЦАХАЛе*, ведь никакого кокса не хватит, чтобы заглушить колики в левом подреберье, у левых там часто болит, и горечь во рту, за страну так тревожно, и надо увозить детей, не отдав их на поживу людоеду Биби**, до чего знакомо, мы и сами были такими леваками за полторы тысячи километров отсюда, не во Владивостоке, так в Москве, не в Москве, так в Питере. Но там было все по-другому, а тут перевернулось с ног на голову, я тоже делаю затыжку, чисто за компанию, давно не курю, здесь вам не тут, Люси прощается и уходит в теплую тель-авивскую ночь на свидание с мужем и кислотой. Когда я машу ей на прощанье, в телефоне звякает телеграм, дочь прислала «кружочек» с бесплатного концерта для солдат, где целый стадион вчерашних школьников поет и прыгает в такт: «Бог меня любит, и всегда со мной все будет хорошо, и еще лучше!» Дочь заглядывает в кадр, так что виден один нос, совершенно не еврейский, телефон прыгает вместе с ней, она поет во все горло: «Вэ од йотер тов, вэ од йотер тов!!» И эхом ей вторит огромный амфитеатр — черное море, мерцающее тысячами телефонных фонариков: «Вэ од йотер тов!! Вэ од йотер тов!!»

Это зажигательное заклинание звучит рефреном из открытых автомобильных окон, его включают на городских уличных концертах, в ульпане оно идет в довершок к эскимо каждому ученику на утренниках по случаю государственных праздников. В Рамат-Гане на границе

* Армия обороны Израиля (сокр., ивр.).

** Прозвище Биньямина Нетаньяху, премьер-министра Израиля.

с Бней-Браком обрывки «цумба-цумба» образуют ритуальный звуковой фон вперемешку с шабатными молитвами из синагоги, надсадным ночным кашлем соседа, неисправной сигнализацией в чьей-то машине, полдня вибрирующей на одной ноте, и лязгающим мусоровозом в четыре часа утра. Еще по выходным чей-то дедушка распевает старинные песни на иврите, красиво и громко, внуки тоненько подпевают, они тоже знают все слова. Звуки — важная часть улицы Хабаним, она же Хатанаим, так как дом угловой, а квартира — 2, хотя на ней написано — 3, что делает адрес практически недостижимой целью для доставщиков, за которыми приходится выскакивать на улицу с криками: «Рэга, рэга!» — это, кстати, и было мое первое слово на иврите — «подожди!», а вовсе не «мама». Также и вид из окна. Почти итальянские черепичные крыши в торце улицы Мальчиков, сами мальчики в кипах и черных костюмах, спешащие стайками в «бейт-кнесет»*, многодетные ортодоксальные семьи с колясками, прогуливающиеся вечерами по узким, замусоренным тротуарам, огромный кипарис высотой с девятиэтажку. Он был зеленый, когда я въехала, потом стал коричневеть, пока половина кроны не стала совершенно бурой. На улице Мальчиков я прожила без малого год, после чего переехала на юг Тель-Авива. Тут совсем другая музыка — вой скорой помощи и полиции, рев мотоциклов, перезвон православной церкви на холме посреди заброшенного ботанического сада, торопливый щебет птиц, жадно склевывающих плоды мушмулы, вскоре после моего переезда начавшей поспевать и оранжеветь. Ближе к ночи — визг дерущихся во дворе котов,

* Дом собраний, молитвенный дом (ивр.).

гортанные возгласы не поделивших что-то эритрейцев и многочасовое барабанное соло из окон фабричного кластера напротив. На рассвете — переключка петухов под монотонные басы рейва, тускнеющие с первыми лучами солнца. Но все это увертюра к главной партии. Вслед за петухами вступает многоголосая стройка — гудящая, шуршащая, стучащая, сигналищая.

Стройка началась ровно в день моего переезда — гроза всех улиц Тель-Авива «ракет кала», скоростной трамвай, с планом запуска через весь город и через пятилетку-другую. Как сказали русскоязычные рабочие в касках, один из Украины, второй из Средней Азии: «Это у вас на год-два». Тот, что из Украины, голубоглазый и широколицый, был оптимистом. Его маленький товарищ, черноглазый и скуластый, смотрел в будущее скептически. В итоге они сторговались на полутора годах, чтобы никому не было обидно. «А почему так долго?» — спросила я, шурясь от клубов пыли. Был ветреный день, и песок со стройки разносился по вздыбленному бульвару Хар Цион*, образуя локальный хамсин. «Ну, — сказал голубоглазый, — ту сторону мы два года делали». С противоположной стороны улицы, из окон бывшей фабрики, слышалась бравурная барабанная дробь. Там были высажены саженцы, вымощен плиткой тротуар, и все помещения в стиле позднего соцреализма давно отданы в наем модным художникам, галерейщикам и музыкантам, которым «ракет кала» даром не сдался, потому что на территории кластера есть огромная автостоянка. Я с усилием перевела взгляд с закопченного фабричного фасада из прекрасного бующего на грузный экскаватор с болтающимся ковшом

* Гора Сион (ивр.).

и юркий мини-трактор с красной мигалкой на голове. Они меланхолично вальсировали в пыли за сетчатым забором — в метре от моей калитки. «Теперь будем у вас, а потом еще посередине улицы — год-два», — не удержался от новой ложки дегтя черноглазый. «Вот мы прокопали у вас траншею, видите», — объяснял голубоглазый, указывая на тротуар с широченным продольным шрамом, наспех присыпанным щебенкой. «Вижу», — заискивающе кивала я. «И это только два кабеля», — констатировал голубоглазый. «Раскопали. Проложили. Закопали. А теперь ждем разрешения, чтобы проложить еще один. И снова раскопаем, — подытожил он. — Вот поэтому — минимум год». — «Два, — парировал черноглазый. — Но вам-то чего переживать? Вас скоро расселят и дадут новую квартиру». — «Мне ничего не дадут, — пожаловалась я улыбчивому строителю в обход мрачного. — У меня договор на год, я тут арендую». Рабочие переглянулись. «Да не пугай ты человека, это не скоро еще», — постарался снизить уровень опасности голубоглазый. «Ну не знаю, — пожал плечами черноглазый, — мне сосед из того дома говорил: все под снос, две высотки по плану, пинуй-бинуй*». «Уж не из Талмуда ли это — подумала я, — пинуй-бинуй, эрос-танатос, смерть-жизнь». «Через год, не раньше», — осенил белоснежным крылом голубоглазый. «Может, и раньше», — поддал жару в топку черноглазый. Через пару дней я спросила у соседки по подъезду, которая стучала кулаком в дверь соседку-китайцу, никогда не моющему пол перед своей квартирой: «Ты знаешь, когда пинуй-бинуй?» Пожилая соседка махнула рукой, точно так же как хозяин моей

* Снос-строительство (ивр.).

квартиры Шимон и как строитель с ангельским взором: «Не скоро!» Я больше не стала ничего уточнять. Я внимала адскому скрежету дорожно-строительной техники и радовалась, что ее сигнальный позывной гудит не по двухэтажному домишке, готовому пойти под снос, когда придет его время. «Ракевет кала» — наша охранная грамота, — поясняла я медной мезузе* на входе в квартиру. — Двум экскаваторам возле нашей калитки просто-напросто не разойтись».

Когда мы вышли из кабинета в консульстве и зашли в зале ожидания, мне было уже совершенно пофиг, поставят нам репатриантские визы или нет. Своими бестактными вопросами и безразличным выражением лица Яков Гендель разбудил во мне внезапное единение с предками и внеплановую ненависть к сионизму. Никакой острой необходимости в переезде не было. Февраль длился уже больше года. Дочь планировала учиться в Италии, сын поступил в киноколледж и получил предварительную категорию «В» в военкомате, то есть армия в ближайшее время ему не грозила. Через полчаса нам выдали паспорта с печатями. Я праздновала личную победу над Генделем, отстояв честь своей еврейской фамилии и отложив двухнедельную поездку «за паспортами» на самый жаркий месяц август, когда у сына закончится практика в киношколе, а дочь уже точно будет знать о зачислении в итальянский университет. Возможно, тут и начинается «фильм, в котором я живу». Впрочем, моя история — это скорее отражение двух других историй, одна «активит», другая «пассивит», если рассуждать категориями иврита, потому

* Свиток с фрагментом текста Торы в футляре (от ивр. «мезуза» — дверной косяк).

что в итоге дочь оказалась в Стране по собственной воле, поломав все свои прежние планы, а сын — поддавшись моим уговорам и под давлением всей семьи. В обоих случаях главным движком была любовь, бросающая под бомбы в аэропорту Бен-Гурион, хватаящая за руки и размазывающая слезы на Цветном бульваре. Оба сердца в итоге оказались разбиты. Как и все разговоры о том, что мы получаем израильское гражданство «на всякий случай», оказались фантомом. Ключевое слово тут «случай». Я до сих пор не могу до конца решить, каков процент случайности в том, что дочь свайпнула в тиндере Не Того Парня, когда мы приехали в Тель-Авив за документами. Моя подруга Хана называет такие вещи кармой. Хана невероятно мудрая, она всегда смотрит в самую суть. Чем дальше я возвращаюсь назад, тем больше убеждаюсь, что за одним взмахом пальца по экрану справа налево стоит история всей нашей семьи. И нет никакого смысла в сослагательном наклонении: «А что было бы, если бы дочь поделилась с братом вайфаем на второй день нашей “паспортной” алии*?»

Мы сидели в городе Ашкелон** в сквере возле МВД, где оказались свободные слоты для приема, я пыталась рассчитаться с рекомендованной общими знакомыми Майей, она не хотела доллары, чтобы не светиться, следующие клиенты уже ждали ее у входа в МВД, это был конвейер, Майя спешила и нервничала, вдруг я не привезу ей завтра шекели, мы только что сдали с ее помощью документы на постоянные паспорта, она называла меня «Даречка», и было в этом

* Репатриация (*ивр.*).

** Город на юго-западе Израиля.

что-то усыпляюще-клофелиновое, сулящее какую-то подставу с «мааварами»*. Когда мы закончили, дочь с сыном успели разругаться вдрызг. На обратном пути в Тель-Авив мы расселись в автобусе порознь. Вай-фай, конечно же, был предлогом. Сын жаждал поскорее написать сообщение своей девушке Арише в Москву, отчитаться, дескать, вот подали документы, скоро будем с паспортами, все ок. Потому и попросил раздать интернет. Девушка Ариша самим фактом своего существования вызывала у дочери устойчивую идиосинкразию. Дочь всегда была сыну матерью больше, чем я, — душащей в объятиях, обожаемой, ревлившей до умопомрачения, повелевающей и жаждущей полного контроля. И потому подростковый бунт сына коснулся больше ее, чем меня. За несколько лет до стычки в Ашкелоне он одним днем перебрался из общей детской в кабинет на узкий диван. На двери навечно повисла табличка «не входить», и, хотя объявление было обезличенным, все сразу поняли, кому оно адресовано. Первая девушка Лера появилась у сына в шестнадцать, он поехал к ней на свидание в неблизкий город Ржев и вернулся к ночи в полной эйфории. Буквально рыдал от счастья, не размениваясь на вербальные подробности. Потом Лера приехала на свидание к нему — коротконогая, крупноголовая, с хищным птичьим взглядом. Сын взял плед и пошел с ней в парк «на пикник». Вернулся весь в засосах, так что я прямо в прихожей выпалила Лере в лицо: «О господи, что ты сделала с моим мальчиком?» Лера зыркнула на меня злыми птичьими глазами и ничего не ответила. Но стало ясно, что он теперь не мой, а ее, раз есть метка. Дочь в это время

* Временный загранпаспорт гражданина Израиля.

проходила летний курс в римском универе. Бог уберег ее от встречи с Лерой. Точнее, он уберег Леру. Бог также был милостив и ко мне, и к сыну. Через пару месяцев Лера его бросила и ушла к другому. А еще спустя месяц появилась Ариша. Арише было четырнадцать, у нее за плечами уже имелась пара неудачных романов. Зато она жила в Москве на Фрунзенской, папа — дизайнер, бабушка — художник, плюс она была хорошенькая и не всасывалась в чужую плоть, как Дракула, то есть работала чисто, не оставляя следов. Сыну на тот момент исполнилось шестнадцать, дочери — восемнадцать. У них разница год и семь месяцев, малышами их часто принимали за близнецов. После стервятницы Леры нимфетка Ариша казалась избавлением, но вернувшейся из Италии дочери не с чем было сравнивать. Мою давнюю реплику Лере о поруганном мальчике она с жаром приняла в свое сердце, потому и отказала брату в вайфае.

Когда я собралась выходить, автобус стоял посреди гигантской парковки и был абсолютно пуст. Водитель открыл дверь и проводил меня равнодушно-недоумевающим взглядом. Надо мной нависала бесформенная бетонная махина центральной автобусной станции с выбитыми окнами. Ряды автобусов уходили до самого края горизонта, за которым голубело раскаленное небо. Я метнулась внутрь автовокзала. Пятиэтажный лабиринт гнал меня с этажа на этаж по своим закоулкам, пропахшим мочой и травой, между торговыми рядами с дешевым трикотажем и липкими сладостями, мимо бессмысленных указателей на иврите, минут десять, пока я не столкнулась с дочерью и сыном, заключившими временное перемирие по случаю ЧП. Они думали, я вышла из автобуса первой и уехала

домой одна. Дальше мы блуждали в поисках выхода уже вдвоем, пока «тахана мерказит»* не исторгла нас нехотя из своего смрадного чрева на выжженный газон, облепленный, словно мухами, эритрейскими, эфиопскими и суданскими наркоманами. Час спустя мы дотащились на автобусе до съемной квартиры в трех минутах от Дизенгофф. И тут меня накрыл настоящий нервный срыв, я орала, рыдая в голос.

— Как вы могли бросить мать! Одну! В автобусе! В чужой стране!

Я ненавидела себя за эти «ускоренные» паспорта, жадную до денег Майю, нищую центральную автостанцию Тель-Авива, за весь свой план, который казался таким неочевидным, за неблагодарность и непонимание со стороны детей, которые, по сути, были правы, потому что я взвалила на себя то, что не привыкла и не умела делать. Сквозь все это проступал тошнотворный стыд за двусмысленность алии с обратными билетами, которые мне еще предстояло купить, как только получим на руки «маавары». «Брошенная в автобусе мать» была так себе отмазкой для истерики. Дети смотрели на меня как на душевнобольную. Когда после криков в квартире повисла тяжелая тишина, дочь скачала тиндлер, и больше я ее почти не видела до самого отъезда. Сын тем временем перестал выходить из дома. Он закрылся в чужой детской, страдая из-за жары и разлуки, утешаясь домашним вайфаем и животворным потоком эмодзи в телефоне. При этом контакты сестры во всех мессенджерах он удалил и заблокировал.

Теперь каждый день, возвращаясь из ульпана, я проезжаю мимо центральной автобусной станции. Мой

* Центральная автобусная станция (ивр.).

новый дом — в четверти часа пешком от клоаки, положившей начало нашему исходу. Местные нарики стали частью моей жизни и любят прикорннуть на ступеньках под калиткой со стороны бульвара. Жизнь в Шапире учит толерантности. Темноликий торчок, словивший приход под твоими окнами, всегда держит в руке пакет «ди чейл» из прошлого. В нем подарочный набор иголок вуду, а то и охотничий расписной бумеранг, прилетевший за прежнее чванство. Впрочем, и дорогой тель-авивский ресторан «Эдоардо», мимо которого мы проходили пару раз в шлепанцах, шортах и с мокрыми после пляжа волосами, в ожидании звонка Майи, оказался таким же порталом в будущее. Разглядывая распахнутый зал, где шел ремонт после пожара, дочь хохмила, как всегда: вот приеду снова и устроюсь сюда на работу. Она уже сдала вступительный тест в римский университет «Сапьенца» и как раз получила оффер. Она с детства мечтала уехать в Италию. Мы вместе смеялись над ее шуткой. У входа в ресторан за круглым столом сидел с эспрессо и сигаретой грузный пожилой итальянец и надзирал исподлобья за рабочими в зале. Три месяца спустя, в разгар войны с ХАМАСом, когда дочь окажется в Стране совершенно одна, не считая Не Того Парня, она придет сюда и попросится на работу. Его зовут Эдоардо, он римский еврей, ему под семьдесят, а его ресторану на углу Смоленский и Бен-Йегуды* — под сорок. Дочь и сейчас там работает, уже полтора года. Всякий раз, когда Не Тот Парень заходил в «Эдоардо», чтобы поцеловаться под бой курантов в Новый год, с букетом после очередной ссоры или стрельнуть сигареты по дороге на свою смену, Эдоардо

* Улицы в центре Тель-Авива.

смотрел на него мрачно исподлобья, подсчитывая что-то в уме, и подытоживал: «Он выглядит как “тос-сико”*, брось его». Увещевал как крестный отец, ведь «Эдоардо» — это большая итальянская семья и немного мафия, тут все делают черную кассу, все друг на друга орут и все друг друга учат жизни. Управляющий Дино все дни проводит за травой и вином, листая приложения знакомств, он, как и дочь, обожает смуглых стройных мальчиков мизрахи. Официантка Иорден в Стране нелегально, она приехала сюда из США искать свою биологическую мать, а в итоге нашла Эдоардо. Иорден немного не в себе и говорит только по-английски со странными ужимками первой леди. Шеф-повар Самуэле готовит пасту лучше всех в Тель-Авиве, он люто ненавидит израильтян за то, что те ничего не смыслят в итальянской еде, и служит добровольцем в полиции. Флегматичный Гад, в юности десантник, после — бармен, весь в татуировках, уехал из России двенадцать лет назад, став убежденным диссидентом. Иногда он швыряет в коллег ножи из-за деревянной барной стойки. И моя дочь — ни еврейка по матери, ни итальянка по гражданству, ни русская по менталитету. А просто Феня. Когда она пришла в «Эдоардо» просить работу, Эдоардо на месте не было. Гад с невозмутимой миной ждал «маген давид адом»**, его случайно облили кипятком на кухне. Шеф Самуэле, услышав итальянскую речь с римским акцентом, сказал Фене ждать хозяина и угостил пастой. Она просидела на улице за тем самым столом, где летом сидел Эдоардо, до ранних осенних

* Наркоман (*итал.*).

** Израильская служба скорой помощи (досл. с *ивр.* — «Красный щит Давида»).

сумерек, прикуривая одну от другой. Эдоардо поговорил с ней пять минут и сказал: «Можешь выходить на работу завтра, только не опаздывай и чтоб волосы были чистые». На следующий день она опоздала, потому что потеряла накануне «теудат зеут»* и ездила в «мисрад апним»** заказывать новый. Как, впрочем, ни разу не пришла вовремя и в другие дни. Феня хронически опаздывает. И по этой причине почти всегда не успевает помыть с утра голову. Теперь Эдоардо сам звонит ей каждое утро, чтобы разбудить.

— Пронто***, — говорит заспанная Феня, сидя напротив меня за столом и быстро уминая свой завтрак.

— Чао, — говорит Эдоардо. — Ты где?

— Я дома, — отвечает Феня. — А ты где?

Она не говорит «я у мамы». Это секрет, ведь она почти «бодед»****, одинокий солдат.

— Ты будешь вовремя? — интересуется Эдоардо.

— А ты? — Феня запихивает в рот желток яичницы, туда же отправляется кусок теплой халы, крошки падают на пол. Лицо все перемазано желтком. Она ночевала у меня сегодня, иногда она приходит, как тот одноглазый уличный кот. Видеть ее — всегда праздник.

— Будь повежливей, — просит Эдоардо. — И не опаздывай.

— Окей, — говорит Феня с набитым ртом. — Чао! — и с довольным смехом откладывает телефон. — Не может жить без меня!

— Мыться пойдешь? — робко интересуюсь я.

* Внутренний паспорт гражданина Израйля (*ивр.*).

** Министерство внутренних дел (*ивр.*).

*** На связи (*итал.*).

**** Одинокий (*ивр.*).

— Не, не успеваю уже, вечером помоюсь в «бейт-а-хаяле».

После того как все закончилось, дочь предпочитает думать, что свайпнула Не Того Парня, чтобы в итоге вернуться сюда насовсем, а Не Тот Парень просто выполнил свою миссию. Но каждый раз, когда я вспоминаю их вместе, у меня сжимается что-то внутри, и, пока я не дерну за эту нитку, а это так же страшно, как выдергивать шов из заштопанного языка, я не смогу начать писать о главном, буду накручивать круги столько времени и букв, сколько потребуется, чтобы наконец найти таблетку, которая обезболит и успокоит.